

НИКОЛАЙ ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

НА ПРАКТИКЕ

Николай Георгиевич Гарин- Михайловский На практике

Аннотация

«Южное лето. Жара невыносимая. Точно из раскалённой печи охватывает пламенем. Сгорел воздух, степь, горят все эти здания громадного вокзала.

Полдень.

На запасном пути на площадке раскалённого чёрного паровоза в одном углу на перилах сидит унылая фигура с большим красным носом машиниста...»

Содержание

I	4
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Николай Гарин- Михайловский На практике

I

Южное лето. Жара невыносимая. Точно из раскалённой печи охватывает пламенем. Сгорел воздух, степь, горят все эти здания громадного вокзала.

Полдень.

На запасном пути на площадке раскалённого чёрного паровоза в одном углу на перилах сидит унылая фигура с большим красным носом машиниста.

Пропитанный салом картуз съехал на затылок и точно приклеен к голове. Куртка, штаны когда-то иного, а теперь такого же, как окружающий уголь, чёрного цвета, тоже пропитаны и лоснятся салом. Запах этого сала тяжёлый, одуряющий. Масло и сало везде: в машинках, на площадках, на стойках, на руках. Пучки пакли, род утиральника – тоже в сале и вытирание рук – только самообман. Этой паклей я – другая фигура на площадке паровоза, в другом углу, виновато и бесполезно, чтобы только что-нибудь делать – тру свои руки.

Я – студент-практикант.

Первый день моей практики. Только что кончили маневры и полчаса, час мы будем стоять так: на припёке, с полупотухшим паровозом, который, как какое-то громадное грязное замученное животное, теперь отдыхая, тяжело сопит.

Машинист Григорьев мрачно смотрит вниз. Вся его фигура судьи красноречиво говорит: «ну, что ж теперь будем делать?»

Я понимаю и сам, что дело из рук вон плохо.

Нас на паровозе всего двое: он – машинист и я – кочегар.

Но собственно это «я – кочегар» один звук. Я даже лопаты в руках держать не умею. Этой лопатой надо перебросить из тендера в топку до трёхсот пудов угля в сутки. Кроме лопаты, много других инструментов, которыми тоже надо уметь владеть и систематично поспевать делать накапливающуюся работу.

Резак, например. Добрых полторы сажени, чуть ли не пудовой металлический стержень с загнутым остриём на конце.

Лёжа на животе под паровозом, держа один конец этого резака в руках, надо другим, пропуская его между колосниками топки, подрезать накапливающийся там шлак.

Подрезать для того, чтобы проходил воздух, иначе гореть не будет, а тогда не будет и пара, как не будет его, если не уметь бросать в печку уголь так, как его надо бросать, к краям потолка, к середине тоньше.

А я бросаю как раз наоборот. И кажется вот-вот хорошо и опять на середину и опять мрачно говорит Григорьев:
– Могила!

И он раздражённо опять вырывает из моих рук лопату. Ловко летит с лопаты уголь и белое пламя топки почти не краснеет, а у меня от одной лопаты и дым и красное пламя, – всё признаки не полного сгорания. И сейчас же манометр падает и работать нечем, а тут как раз надо воду качать, надо сало спускать в маслёнках, надо новое наливать, надо чинить расхлябавшиеся подшипники, тормозить паровоз, кричать составителям и зорко следить, чтобы не стукнуть друг с другом те задние, где-то в бесконечном отдалении вагоны. Всё это надо делать мне и всё это делает, кроме всех своих других обязанностей, Григорьев и после каждой сделанной за меня работы, он всё тем же безнадёжным долбящим голосом говорит:

– Так, так... А кто ж работать будет?

И как раз в это время где-то там сзади: бух-тах-тарарах с какой-то всеразрушающей силой стучаются вагоны и кажется в щепки летят. Григорьев хватается за регулятор, штайер кричит дико: «Тормоз». Я бросаюсь к тормозу, отчаянно верчу, но не в ту сторону – я растормаживаю, вместо того, чтобы затормозить.

– А-а-а!

В этом «а-а-а», в этой поднятой ноге, в руках, схватившихся за голову, всё бессилие, вся злоба, всё бешенство

несчастливого. Каторга, из которой каким-то порывом он хотел бы унести и сразу забыть этот проклятый паровоз, роковые выстрелы стучащихся вагонов, дурацкую фигуру оторопевшего никуда негодного своего помощника.

И опять кричит он в отчаянии:

– Да что ж это наконец?.. Шутки шутить, что ли, мы будем?

Тошно. Провалиться. Убежать сейчас и не возвращаться. Да вот... Ехал на практику, выбрал самую тяжёлую, был горд сознанием предстоящего чёрного труда.

Унылая фигура Григорьева скрючилась и застыла. Я всё также тру руки паклей. Лучше бы уже ругался.

– Нагортайте угля.

И, не дожидаясь, пока я соображу новое непонятное для меня распоряжение, Григорьев уже хватает лопату, взбирается на задний край тендера и начинает оттуда подбрасывать уголь к топке.

И я взбираюсь за ним и, поняв, чего от меня хотят, говорю смиренно:

– Позвольте мне.

Боже мой, с каким колебанием передаётся мне эта лопата. Какое презрение ко мне. Точно это фельдмаршальский жезл, а я презреннейший из трусов.

Когда около топки образовывается порядочная горка, Григорьев через силу говорит:

– Ну... Ступайте обедать.

Я спускаюсь с паровоза на землю и робко спрашиваю:

– Вы не можете сказать мне, где здесь можно пообедать?

Григорьев говорит, отвернувшись:

– Направо из ворот: написано на вывеске. Да не сидите там три часа.

Я шагаю. Новенькая парусиновая блуза уже вся в пятнах, слой угольной пыли на ней, на лице, волосах. Пот струйками пробивает в ней дорожку по щекам. Я стираю этот пот и чувствую, что размазываю на лице грязь. На зубах хрустит уголь, но есть хочется, так хочется, что от мысли, что сейчас буду есть, все невзгоды первого дня отступают на задний план. Какое-то смутное утешительное сознание: перемелется – мука будет. В воротах молодой кочегар Иванов, с которым я познакомился сегодня утром в конторе глухого и грязного начальника депо.

Кочегар, засунув руки в карманы, ждёт меня, насвистывая какую-то песенку.

– Ну? – весело спрашивает он, когда я подхожу, – Григорьев не побил?

– Только что не побил, – отвечаю я и сразу мы оба чувствуем себя старыми товарищами.

Мы идём направо по площади туда, где над маленькой дверью харчевни нарисована какая-то большая птица, проткнутая вилкой и ножом.

– Да вот, – говорит мой товарищ, – ругатель Григорьев, конечно, а вот насчёт этого, только он, да мой – своих коче-

гаров вперед себя обедать пускают.

В тёмной обширной, с невысокими потолками харчевне много народа: машинисты, слесаря, кузнецы. Лица чёрные, закоптелые, у машинистов важные и тем важнее, чем больше нашивок из галуна на шапке. С каким сосредоточенным важным видом ест один с тремя нашивками ещё молодой, с русой бородкой, с умными, твёрдыми, голубыми глазами.

Там, дальше группа уже поевших. В центре большой, толстый, отвалившись, улыбается, слушая соседа и, прищурившись, смотрит начальственно на нас. Рядом с ним высокий, худой, с жидкой бородкой, с тремя нашивками весёлый немец, что-то говорит и все кругом хохочут.

– Это Альбранд из Вены, – всё врёт, но так, что животики надорвёшь, – говорит мой спутник.

Какой-то машинист за другим столом мрачный, жёлчный стучит кулаком и грозно говорит:

– Я своего паровоза не дам... Расплююсь, уйду, а не дам.

Небрежно откинувшись, куря сигару, слесарь читает газету.

Нам дали борщ с большим куском говядины, на столе хрен с уксусом, гора ломтей тёмного пшеничного хлеба, один запах которого уже вызывает усиленный аппетит. На второе дали тушёную говядину с густым чёрным соком, с поджаренным картофелем.

Я, всегда смотревший на еду, как на какую-то скучную формальность, здесь ел, ел и чем больше ел, тем больше хо-

телось. Ел и с наслаждением представлял себе родных, знакомых барышень. Если бы они увидали теперь меня здесь? Моя мать, которая в отчаянии от моего обычного ничего неяденья, всегда говорила:

– Твой желудок дамочка и самая капризная из всех.

А осенью у меня будет в кармане аттестат машиниста.

Я заплатил за свой обед 20 копеек и мой товарищ говорит мне:

– Григорьев! Я его, зуду, хорошо знаю, я тоже начал с ним ездить, – ему всех новичков дают, потому что другие, вот эти все, такого кочегара, как вы, в шею бы погнали с паровоза, а он берёт, – он теперь несколько дней, пока вы не приучитесь, и обедать не будет ходить. А вы ему бутылочку водки купите и отнесите: он это любит, помягче станет с вами.

– Так, может быть, и обед ему снести?

– Ну, так худо ли было б!

Нашлись и судки: щи, жаркое, огурец, хлеба ворох, бутылка водки.

– Ну, уж валяйте ему и пива, – пусть старичина повеселится. Вместе понесём.

– Дядя, Григорий Иванович! – кричал ещё издали мой товарищ, – мы к вам с поклоном и повинной.

– Ну, какие там ещё... Ничего не надо!

И Григорьев, как те игрушечные медведи, что заводят и они возятся и ворчат, завожился в своём углу, вытаскивая грязный платок с провизией.

Мой товарищ, очевидно успевший изучить бывшее начальство, сломил однако упрямство Григорьева и немного погодя, энергично хрустя зубами, он уже уничтожал всё принесённое нами.

Он сидел на корточках, открывая, как пасть, свой широкий рот и говорил, в промежутках, обращаясь исключительно к своему бывшему помощнику:

– Всё это лишнее, – он тыкал на борщ, жаркое, – ну, вот это, – он указал на водку, – пожалуй, что и полезное – когда за двух приходится работать, – где же силы взять, – она вот и помогает...

И он брал бутылку и опять осторожно наливал в свою с отбитым доньшком рюмку.

– Вот это, – он показал на пиво, – тоже по настоящему дрянь: это немцам, а наш брат...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.